

Рец. на: Критический словарь Русской революции: 1914–1921 / Сост. Э. Актон, У.Г. Розенберг, В.Ю. Черняев. СПб.: Нестор-История, 2014. 798 с.

Vladimir Buldakov

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences)

Rec. ad op.: Kriticheskkii slovar' Russkoi revoliutsii: 1914–1921. Saint Petersburg, 2014

Строго говоря, появление данного словаря на русском языке основательно запоздало. Идея его создания была предложена покойным Леопольдом Хаймсоном (1927–2010) ещё в 1993 г. Англоязычный оригинал появился практически одновременно в Великобритании и США в 1997 г.¹ В работе над ним участвовало 46 авторов, в основном из Великобритании и Северной Америки, однако приглашены были и российские авторы, которые подготовили 15 статей. Сотрудничество вылилось в 67 материалов. К настоящему изданию добавились лишь две статьи зарубежных историков. Формально, в словаре воспроизводятся представления 17-летней давности, а потому сразу же возникает вопрос: устарели ли взгляды авторов (шестерых из которых уже нет в живых)?

В своё время словарь получил положительные отзывы в виднейших советологических изданиях. Разумеется, были и критические замечания, связанные с некоторыми лакунами (кстати, не заполненными по сей день). Но важнее отметить другое: словарь сложился на основе сотрудничества отечественных и зарубежных историков в рамках международных коллоквиумов, регулярно проводящихся в Санкт-Петербурге с 1990 г.

К тому времени зарубежные авторы сборника обрели в своей среде устойчивую репутацию «ревизионистов». Дело в том, что ещё в 1980-е гг. новая генерация советологов, сосредоточившись на проблемах социальной (а не политической) истории, стала стремительно отходить от стереотипов времён холодной войны. И тогда революция в России предстала чем-то несравненно большим, нежели старые

как мир конспирологические домыслы или поверхностная картина столкновения партийно-политических сил, победителями из которого вышли «коварные заговорщики» в лице большевиков. Неожиданно для себя «ревизионисты» оказались под огнём критики и своих «учителей» (вроде Р. Пайпса), и ортодоксов марксизма-ленинизма. Таким образом, современный читатель может познакомиться со взглядами тех, кого в СССР именовали «наиболее изощёнными фальсификаторами истории Великой Октябрьской социалистической революции».

Революция – включая события февраля и октября 1917 г. – рассматривается не как серия одномоментных переворотов, а как процесс, начавшийся во время Первой мировой войны и завершившийся с окончанием войны Гражданской. Ко времени выхода словаря на Западе утвердилось представление о связи мировой войны и идеи мировой революции. Правда, как отмечает в предисловии известный историограф революции Эдвард Актон², крушение марксизма-ленинизма повлекло за собой не только активизацию западных консерваторов, но и возвращение в России «причудливых теорий заговоров для объяснения Октября» (с. 29). Вместе с тем под влиянием постмодернизма некоторые авторы принялись отрицать любые закономерности в историческом процессе в пользу «игры случая» (с. 32). В общем, были угаданы познавательные тупики, в которые могла забрести историческая мысль. Чтобы избежать их, авторы сборника попытались взглянуть на революцию не только «сверху» (из кабинетов), но и «снизу». Для перманентно этатизирован-

ной российской историографии это было делом непривычным.

Итак, словарь был задуман не столько как справочное издание или «выставка достижений», сколько как путеводитель для очередной генерации историков революции. Отсюда и встречающиеся в конце некоторых статей отсылки к архивным (в том числе и закрытым) фондам. Авторы чаще предполагают, нежели утверждают. Этой задаче соответствует и структура словаря, адаптированная к особенностям восприятия как рядового читателя, так и историка.

Составители начинают с раздела «Революция как событие», затем следуют «Исторические деятели», «Партии, движения, идеологии», «История ведомств и культура учреждений», «Социальные группы и вопросы общественного сознания и культуры», «Экономика и проблемы повседневной жизни». Завершает словарь раздел «Национальные движения и областничество».

Своего рода ключом к замыслу издания смотрятся слова составителя, автора вступительной и ряда других статей Уильяма Розенберга о «трагедии конкурирующих невозможностей» (с. 48), в полной мере проявивших себя в ходе революции и Гражданской войны. С ними перекликается замечание Марка фон Хагена о возникновении в 1917 г. обстоятельств, «позволяющих разным претендентам на власть вообразить о достижимости своих грёз», тогда как развитие событий «сделало почти невозможным осуществление их честолюбивых проектов» (с. 675). Строго говоря, представление о революции как о своеобразной самоаннигиляции революционной утопии, поначалу реактивированной, а затем поглощённой традиционализмом, не является чем-то принципиально новым³. Но способно ли нынешнее сообщество историков адекватно описать этот процесс?

Освещение событий революции начинается статьей Доминика Ливена «Россия, Европа и Первая мировая война». Автор исходит из представления о том, что в начале XX в. Российская империя была «менее могущественна» и ощущала себя не столь безопасно, нежели столетием ранее, а потому её правители не хотели войны

(с. 53, 55). Между тем война превращалась в своеобразное соревнование – тыл какой из воюющих держав рухнет первым. Российский тыл оказался наименее прочным, несмотря на то, что «российская оборонная промышленность в 1916 г. проявила чудеса» (с. 56, 57). Высоко оценивает мобилизационные способности российского военно-промышленного сектора и Цуоши Хасегава в статье о Февральской революции, отмечая, однако, неспособность власти «согласовать интересы конкурентов в продовольственном снабжении» (с. 61). И всё же мобилизационные усилия власти выглядят не столь успешно: зависимость России от союзнических поставок неуклонно росла⁴. Системный кризис подошёл к своему апогею; стоит удивляться лишь тому, как Россия выдерживала напряжение войны в течение двух с половиной лет в условиях, когда администрация всех уровней продемонстрировала «чудовищную неумелость, недалёковидность, слабонервность, бестолковость». Причём их некомпетентность была «укоренена в структурной слабости самого режима» (с. 63).

Разумеется, главная интрига связана с происхождением Февральской революции. Как отмечает Хасегава, некоторые западные авторы отмечают «как надуманный» советскими историками в 1920-е гг. «в обстановке внутренней борьбы за власть» спор о «стихийности и сознательности» революции (с. 62–63). В 1970–1980-е гг. мне пришлось застать отголоски дискуссий на этот счёт. Они были неизбежны: в авторитарных системах всякая «необъяснимая» стихийность представляется противоестественной. Сказывался и другой феномен: чем хаотичнее действительность, тем сильнее соблазн свести её к элементарным причинно-следственным связям. Отсюда конспирологические психозы, особенно болезненно поражающие людей в кризисные времена. В патерналистских системах массы легко сбиваются на эмоции, которые в свою очередь устраивают бесконечные хороводы вокруг власти.

Примечательно, что другой автор, Питер Гэтрелл, ссылаясь на авторитет М. Фуко, высказался о необходимости «выдвижения на первый план деполити-

зированной дискурса» вместо государственной власти, экономического интереса, класса и политической борьбы (с. 469). В феврале–марте 1917 г. именно первоначальные страсти превращали умеренных политиков в «революционеров поневоле». Появление знаменитого Приказа № 1 убеждает в этом.

Что касается Ц. Хасегавы, то, похоже, он колеблется между невольным признанием синергетики революции и конспирологией. Отсюда странноватое предположение относительно попытки масонов объединить оппозицию поверх партийных границ «с открытой целью свержения правительства, одновременно найдя важную связь с массовым движением» (с. 61). Куда реалистичнее звучит описание послефевральской ситуации в дискурсе «распада государственной власти» (с. 69).

Революция действительно управлялась утопиями и эмоциями – к такому выводу вольно или невольно тяготеют авторы словаря. В сущности, Апрельский кризис (статья Зивы Галили) показан именно как столкновение утопического доктринёрства (П.Н. Милюкова, лидеров Петроградского Совета) с «ощущением обманутого доверия» в массах, уставших от тягот войны (с. 73). Солдат это коснулось в наибольшей степени, что повлекло за собой быстро прогрессирующее разложение армии. Характерно, что к августу 1917 г., как отмечает Аллан Уайлдман, они заранее были настроены против Л.Г. Корнилова – как, впрочем, и любого лидера, вздумавшего заговорить о наведении порядка. По той же причине солдаты развернули мифы о предательстве большевиков, «изобретённые высшими офицерами и политиками правой ориентации», против самих «изобретателей» (с. 83). По мнению Александра Рабиновича (статья об Октябрьской революции), «силы стихии, освобождённые Февральской революцией, невозможно было остановить на полпути» (с. 88).

В своё время западные рецензенты заметили, что в словаре опущены июньский и июльский политические кризисы и выступление Корнилова. Смежные статьи словаря не восполняют этот пробел. Так, Рабинович лишь отмечает, что радикальные элементы большевиков, «отклика-

ясь на настроения своих воинственных сторонников, спровоцировали неудачное восстание в Петрограде, вопреки воле Ленина и ЦК» (с. 88). Уайлдман уделил выступлению Корнилова лишь три страницы, отметив появление солдатских резолюций с требованием казни генерала (с. 83–85).

«Исторические деятели» 1917 г. предстают фигурами, невольно подыгрывающими пресловутому «углублению революции». Так, Николай II в изображении, похоже, симпатизирующего ему Д. Ливена показан человеком долга, обнаружившим к 1915 г. «признаки упадка физических и душевных сил». Он «способен был удержать любого премьер-министра от эффективного контроля и координации правительственной политики, хотя сам осуществлять их не мог» (с. 161, 163, 164). Во власти иллюзий пребывал П.Н. Милюков, ставший ключевой (и роковой) фигурой 1917 г. По мнению Реймонда Пирсона, он был подготовлен лишь «к работе в парламентской оппозиции, но не к правительственной деятельности», а потому оказался «удивительно неудачлив как политик и государственный деятель». Впрочем, эти оценки несколько смикшированы традиционным замечанием о «преждевременности» либерализма в России (с. 154, 158, 159). В отличие от Милюкова, А.Ф. Керенский в марте 1917 г. оказался в роли «нужного человека на нужном месте» (с. 128). Но, по мнению Б.И. Колоницкого, его погубило «актёрство», в свою очередь обусловленное тем, что «для нескольких поколений российской интеллигенции искусство и, особенно, художественная литература стали суррогатом политики и идеологии». В хаосе неоправданных ожиданий он не мог не растерять тот зыбкий капитал доверия, который подпирал его культ. Отсюда поток поношений в его адрес со стороны людей, совсем недавно боготворивших его (с. 132, 136).

Строго говоря, на фоне растущего нетерпения масс все известные политические фигуры становились в последовательный ряд людей «запоздалых». Это относится и к В.М. Чернову, которому, по мнению Майкла Мелансона, «не хватало ощущения политической современности» (с. 196). Оказался не у дел и И.Г. Цере-

тели – искренний сторонник коалиции с буржуазией, личность которого, как заключают З. Галили и А.П. Ненароков, стала воплощением «оптимистических надежд и трагических разочарований» (с. 191). А июльские призывы Ю.О. Мартова передать власть «демократическому правительству типа Народного фронта», по словам Израиля Гетцлера, «потонули в боевом кличе большевиков “Вся власть Советам”» (с. 150). Сходное впечатление, несмотря на некоторую идеализацию, производят все противники большевиков. Это прежде всего относится к М.А. Спиридоновой, отчаянно пытавшейся, как отмечает А. Рабинович, противостоять «прогерманской, антикрестьянской» политике большевиков (с. 168). На деле она представляла скорее «больной нерв» революционного времени⁵. Стоит заметить, что в книге не упомянута интересная работа, посвящённая Спиридоновой⁶.

В контексте революционного хаоса особый интерес вызывает фигура Л.Д. Троцкого, который, как справедливо отмечает В.Ю. Черняев, историку революции «всегда интересен» (с. 182). Но как описать «генератора хаоса»? Оценки нынешнего мирного времени по понятной причине будут тяготеть к отзывам былых ненавистников Троцкого; всё это неизбежно сольётся в слаженный (и вроде бы убедительный) хор хулителей. Но стоит ли ему доверять? В сущности, подобные сомнения относятся ко всем заметным фигурантам революции. На деле важнее то, как они смотрелись в своё время «из толпы», которая, как известно, то возносит, то отторгает своих кумиров⁷.

Волей-неволей только В.И. Ленин предстаёт на фоне прочих политиков «человеком действия» – прирождённым самоуверенным лидером, нетерпимым к чужому мнению и не испытывающим ни сомнений, ни колебаний (с. 141). При этом, считает Роберт Сервис, не следует преувеличивать новаторства его разрушительных идей – у него была масса предшественников не только в России, но и в Европе (с. 145). Вероятно, феномен Ленина, который вроде бы всегда побеждал, но, в конечном счёте, оказался «у разбитого корыта» иллюзий мировой революции, всё же не столь загадочен. В центре мифа

о революции непременно должен оказаться «идеальный» герой – порядок из хаоса возникает именно благодаря разлитой вокруг него харизме.

Не секрет, что современная российская историография пронизана идеализацией белогвардейцев. Между тем в статье о белых генералах (В.Ю. Черняев) показано, что их верхи раздирались противоречиями, которые не могли не сказаться на успехе всего антибольшевистского движения (с. 200). Это была весьма разнородная среда, и их политические судьбы подчас оказывались диаметрально противоположными. Продвижение революции не случайно связано с разложением контрреволюции.

За героями и антигероями стояли определённые организации. Российская историография по-прежнему то и дело скатывается на поиск «альтернатив» желаемому прошлому. Отсюда наследство советских времён – навязчивое тяготение к изучению политических партий. Между тем характеристики последних, предложенные авторами словаря, в целом смотрятся уничижительно. Соответствующие статьи обнаруживают изоморфность «достоинств» и «слабостей» тех или иных партий качествам своих лидеров.

Кадеты в статье У. Розенберга выглядят заведомо проигравшими, причём для них «вряд ли стал сюрпризом приход большевиков к власти». Практически бесполезными оказались они и в годы Гражданской войны (с. 217, 219). Эсеры в изображении М. Мелансона предстают жертвой собственной мартовской популярности. Они распылили силы в многочисленных местных общественных и муниципальных организациях и погрязли во внутренних расколах (с. 223–224). Всякая практическая деятельность заставляет революционеров «праветь». В отличие от основной эсеровской массы, левые эсеры предстают безнадёжными революционными идеалистами, непригодными к обладанию властью в какой бы то ни было форме (с. 237). Напротив, деятельность в Советах и во Временном правительстве более прагматичных меньшевиков, по мнению З. Галили и А.П. Ненарокова, определила целый период в развитии революции (с. 250). Однако они не распо-

лагали оружием против большевистской деструктивности, вполне соответствующей росту социальной напряжённости.

Принципиально важным представляется вывод Р. Сервиса о том, что «совершенно ошибочно считать большевиков 1917 года сплочённой партией» (с. 255). Действительно, большевики выступали скорее генератором социальной агрессивности, нежели политической партией. И это болезненно сказалось после завоевания ими власти. По мнению Роберта Даниэлса, «поразительной чертой русской революции была живучесть политического плюрализма внутри победоносной компартии на протяжении всего насильственного и неуверенного периода революционной борьбы эпохи “военного коммунизма”» (с. 264). Это, впрочем, естественно, поскольку хаос революции невозможно сдержать, приходилось дожидаться его самоистощения. К тому же, отмечает Черняев, большевиков роднило с анархистами убеждение, что «революция вызовет крах капитализма и тормозит её развитие преступно». Однако вряд ли можно согласиться с утверждением, что большевики «умело манипулировали» анархистами (с. 276). Думать, что в российской революционной стихии кто-то мог чем-то манипулировать, всё равно, что допускать, будто хвост способен вилять собакой. М. фон Хаген словно специально по этому поводу пишет, что лидеры «атаманщины» на Украине «вставали на сторону то большевиков, то Петлюры, то белых» и «ни один из претендентов на власть в регионе не мог долго рассчитывать на [их] лояльность» (с. 683).

В 1917 г. и либералы, и социалисты вольно или невольно оказались в роли строителей демократических декораций, скрывающих архаику российского быта. После Октября за ними последовали большевики, преуспевшие ровно настолько, насколько их коммунистическое прожектёрство сомкнулась с реликтами народных утопий. А в целом проиграли все – такова цена революционных крайностей, простирающихся от безудержного прогрессизма интеллигенции до примордиалистских страхов масс.

Раздел «История ведомств и культура учреждений» содержит наибольшее коли-

чество (17) статей. На их основе можно сделать вывод о чрезвычайной зыбкости институтов, возникающих в ходе революции. Так, по мнению Говарда Уайта, Временное правительство испытывало «трудности из-за внутренних разногласий, способствовавших стремлению каждого министра, и даже товарища (заместителя) министра проводить собственную политику» (с. 300). Нестабильным был и местный государственный аппарат, который, как показал Н.Н. Смирнов, к осени 1917 г. «представлял собой пёструю мозаику из новых должностных лиц и учреждений и старых органов суда, финансового, административно-хозяйственного и военного аппарата» (с. 332). К сожалению, в тени остались местные комитеты общественной безопасности, в состав которых поначалу входили Советы. Впрочем, и Советы не устраивали большевиков, которые в годы Гражданской войны постоянно заменяли их ревкомы (с. 431).

Словарь действительно оказался критическим. Его авторы отвергли представление о революционной организованности пролетариата. Дайана Коенкер отметила, что в ряде случаев «профсоюзное движение официально осуждало забастовки», полагая, что стачки на предприятиях или в отдельных отраслях «наносит удар пролетарской солидарности» (с. 399). Стив Смит показал, что куда быстрее профсоюзов в 1917 г. шло образование фабзавкомов, поставивших большевикам красногвардейцев, сыгравших немалую роль в свержении Временного правительства (с. 445–446).

Органы власти в деревне были далеки от самоуправленческих идеалов социалистов. По мнению Орландо Файджеса, представление о «естественном коллективизме» русского народа принадлежит области славянофильских утопий, сельская жизнь была «далека от той общинной гармонии, какую иногда представляли себе городские интеллектуалы» (с. 347). Можно сказать больше: по мере роста аграрной перенаселённости крестьянская среда аккумулировала в себе чудовищный заряд агрессивности, который эксплицитно предопределил неистовства «чёрного передела» 1917–1918 гг., а имплицитно – общую динамику «красной смуты».

В сущности, в основе российского системного кризиса лежала обращённая форма «общинной революции» – агрессивность крестьянства вырвалась во внешний мир. Файджес отмечает слабость государственных позиций в сельском управлении (с. 347–348). Однако следовало бы иметь в виду, что для крестьян определяющее значение имело не функциональное, а скорее символическое присутствие «вездесущей» власти. При этом оно всегда разделяло «идеальную» («царскую») власть и её «негодных» исполнителей. Сомнительно, впрочем, что «крестьянская война» (её начало следовало бы отсчитывать с 1902, а не с 1905 г.) была «особенно ожесточённой в районах общинного земельного держания» и направлялась преимущественно против помещиков (с. 348).

Представляется, что накал крестьянского ожесточения в большей или меньшей степени соответствовал уровню аграрной перенаселённости того или иного региона. Вместе с тем в 1917 г. крестьянство предпочло начать погромные действия с отрубников и хуторян, памятуя, что за помещиками стоит «всевидающая» государственная власть. На этом фоне совершенно естественно, что «главной движущей силой крестьянской революции стала крестьянская община, в 1917 г. вновь набравшая силу». Не случайно «лишь немногие хутора пришлось возвращать в неё насильственно» (с. 350). Впрочем, последнее утверждение сомнительно: есть основания полагать, что вкрадчивое крестьянское наступление на «внешний» мир началось именно с односельчан⁸, предавших «заветы отцов» ради индивидуальной выгоды. Во всяком случае, традиции «моральной экономики» должны были проявить себя именно так. Общинная психология взяла верх над навязываемыми сверху институтами, включая комбеды и волостные Советы. Лишь к концу 1919 г. большевикам удалось оседлать волостные исполкомы – «пахари уступили дорогу работникам пера», рекрутируемым из молодых фронтовиков (с. 352–354).

Весьма показательным, что авторы словаря уделили значительное внимание проблемам образования (А.Л. Марков), печати (Б.И. Колоницкий), семьи и гендеру (Элизабет Уотерс), православной

церкви (М.В. Шкаровский) и даже сектам (Хэзер Кольман). При этом Шкаровский справедливо отметил, что 1917 г. православная церковь «встретила в состоянии глубокого внутреннего кризиса» (с. 384), чего современные авторы предпочитают не замечать. Примечательно, что церковь сама исторгала элементы общероссийского системного кризиса: не случайно в революционных партиях столь велик был процент семинаристов⁹.

На пике системного кризиса, когда не только старые государственные институты и социальные структуры, но и бывшие идеологии пребывают в расплывлённом состоянии, преобладает синергетика элементарного выживания, ориентированная, в свою очередь, на архаичные социальные практики и народные утопии. Увы, современные российские авторы предпочитают старую историографическую колею: то сочиняют институционные и партийные «альтернативы», то упиваются пугающими описаниями ужасов революционной повседневности, забывая о поразительной способности адаптироваться к кризисной ситуации, которую продемонстрировал народ в 1914–1920 гг.

В целом из материалов словаря видно: процесс, объединяемый понятием «русская революция», носил многомерный и многоликий характер. Особенно это заметно по материалам раздела, посвященного отдельным социальным группам: дворянству (Д. Ливен), интеллигенции (Джейн Бурбанк), офицерам (Питер Кенез), рабочим (С.В. Яров), солдатам и матросам (Ивэн Модсли), беженцам (П. Гэтрелл). Вопреки нынешним представлениям, Гэтрелл показал, что российский промышленный прогресс был связан с макроэкономической политикой, направленной на привлечение зарубежных инвестиций (с. 528). Предпринимательская же среда раздиралась противоречиями между представителями «купеческой» и новой формаций. При этом в годы мировой войны российские предприниматели, в отличие от зарубежных коллег, так и не смогли договориться с рабочими, что сказалось на развитии социального антагонизма (с. 529, 533, 535). Даже в 1917 г. сохраняли остроту и конфликт между крупными предпринимателями и правительством, и

раскол среди русских промышленников (с. 532–534, 537). Между прочим, в 1915 г. в правительственных верхах говорили: «Наши заводчики – шайка, с которой надо действовать решительно»¹⁰.

Не секрет, что в связи со столетием Первой мировой войны ряд отечественных авторов ударился в восхваление успехов русской промышленности. Западные исследователи соглашались с тем, что «российская оборонная промышленность в 1916 г. проявила чудеса» (с. 56, 61). Однако никто не заикается, что в следующем году перевооружённая армия могла вести успешные наступательные действия.

С.В. Яров показал, что радикализм рабочих в 1917 г. – не более чем миф, нашедший наиболее полное воплощение в легенде о рабочем контроле. Напротив, на производственном уровне «отчётливо виден своеобразный симбиоз рабочих и предпринимателей, не столько споривших друг с другом, сколько решавших вместе частные проблемы своего предприятия» (с. 546). Действительно, рабочие (как и все трудящиеся) руководствовались инстинктом выживания, смыкающимся с социальными утопиями, а не интеллигентскими партийными доктринами. Пролетарские забастовки не случайно продолжались на протяжении всего нэповского периода¹¹.

Несомненно, наиболее активную роль в революции сыграли солдаты и матросы. Отмечая этот факт, Э. Модсли почему-то игнорирует работы М.С. Френкина, в своё время «взорвавшего» историографию констатацией этого очевидного явления¹².

В статье о крестьянстве О. Файджес пишет, что «первые шесть месяцев советской власти стали пиком крестьянского мятежа против воздействия центра». Вряд ли это удачная формулировка: на деле имел место скорее пик «чёрного передела». Сомнительно также утверждение, что «в течение полугода своего правления большевикам пришлось оставить деревню в покое, позволив крестьянам свободно торговать с городами» (с. 507, 508). На деле в то время деревне пришлось сдерживать нашествие – во многом стихийное, но поддерживаемое большевиками – городских продотрядовцев. В конечном итоге крестьянство поставило большевистский город на колени. Заключительный раздел

статьи Файджеса о крестьянстве не случайно называется «Крестьянский Брест-Литовск» (с. 510), что, кстати, перекликается с заглавием одной из книг покойного С.А. Павлюченкова¹³, которая в словаре осталась неупомянутой.

Системный кризис не может быть описан в рамках упрощённых бинарных оппозиций типа «революция – контрреволюция», «красные – белые» и т.п. Так, Шейн О’Рурк отмечает нарастание напряженности в казачьих областях между казаками и крестьянами, а также между казаками-фронтовиками и их отцами и дедами (с. 496–497). Казачество, безусловно, не было однородной контрреволюционной массой ни ко времени падения самодержавия, ни даже в годы Гражданской войны. Их нет смысла делить на красных и белых, они попеременно сражались «за независимость родных мест» как против большевиков, как и на их стороне (с. 495). Последние использовали внутренние противоречия, рассчитывая на «классовый раскол», а вовсе не стремились к пресловутому «расказачиванию» (с. 499–500), по поводу которого в постсоветской публицистике пролито море крокодиловых слёз. И стоило бы дополнительно подчеркнуть, что на всех этапах «красной смуты» в основе поведения казаков лежал социальный изоляционизм, ради которого в 1917 г. они даже пытались прикинуться особой нацией¹⁴.

В полной мере системный кризис сказался и на поведении городских средних слоёв. Дэниел Орловский показал их «глубокое отчуждение как от “буржуазии” и её партий, так и от самого Временного правительства» (с. 566). Идентификационные процессы разрушали систему по всем линиям. Барбара Клементс справедливо отметила, что изучение гендера выходит за пределы изучения понятий мужского и женского; через эти концепты возможно изучение «других ценностей, идей и нравов» (с. 480). Действительно, стоило бы задуматься над тем, насколько изменение гендерного равновесия сказалось на росте агрессивности социальной среды. Между тем в условиях господства постмодернистского мелкотемья гендерные исследования рискуют превратиться в простую подпорку феминизма.

Не секрет, что нынешняя апологетика белых генералов в России (серьёзные исследования единичны¹⁵) усилила представление о том, что Гражданская война состояла исключительно из сражений между ними и красными. Между тем Элан Вуд в статье о положении дел в Сибири справедливо отметил, что «в какой-то момент на территории от Челябинска до Владивостока действовало не менее 19 различных органов власти» (с. 655). Среди белогвардейских противников большевиков было предостаточно «розовых» – к ним можно отнести и Л.Г. Корнилова. Откровенные монархисты оставались в меньшинстве. П. Кенез показал, что в годы Первой мировой войны произошла «демократизация» офицерского корпуса, а неприязнь офицерства к либералам и социалистам была вызвана «пассивностью» последних в момент октябрьского восстания большевиков (с. 522, 523). Э. Модели обстоятельно изложил историю успехов и поражений всех белых армий (за исключением разве что закаспийской контрреволюции¹⁶).

В разделе об экономике и революционном быте принципиальное значение имеет замечание У. Розенберга о том, что «радикальные перемены в повседневных социальных отношениях и бытовые процессы... влияли гораздо сильнее революционной политики, и это куда лучше уловила пастернаковская поэзия “Доктора Живаго”, чем экономическая и социальная статистика» (с. 595). Этот раздел включает также статьи «Военный коммунизм» (Сильвана Малли), «Голод 1921 года» (Дэвид Энгерман), «Хлебная монополия и трансформация сельского хозяйства» (Ларс Ли). Из содержащегося в них материала видно, что большевики не только не справились с проблемами, с которыми в годы Первой мировой войны столкнулось ещё царское правительство, но и усугубили их (с. 614). С этим нельзя не согласиться. Не стоит, однако, забывать, что элементы характерной для них «смеси идеализма и жестокости, прагматизма и иллюзий» были заложены как эпохой Просвещения, закономерно сорвавшейся в мировую войну, так и российской патерналистской культурой, то и дело скатывающейся к деспотизму.

Удивительно рифмуется с современностью раздел о «Национальных движениях и областничестве». Он открывается «Национальной политикой» (Рональд Суни). В оригинале статья называется «Nationality Policies», что следовало бы перевести как «политические действия по отношению к национальностям» или, по современной терминологии, «этнополитика». Во всяком случае, термин «национальная политика» звучит по меньшей мере двусмысленно. К сожалению, российские историки всё ещё пользуются устаревшей и неадекватной терминологией, что и сказалось при переводе.

Нельзя не согласиться с мнением Суни о том, что в первый год революции национализм (в смысле сепаратизма) «был относительно слаб». Однако он не мог не усилиться, поскольку «и либералы, и социалисты верили в национальное самоопределение на уровне политической теории, но когда нерусские народы выбрали отделение, интересы государства взяли верх над принципом» (с. 622). Впрочем, суждение о том, что к осени 1917 г. политическими союзниками казаков – этих «традиционных защитников российской государственности» – стали кадеты (с. 619), звучит сомнительно. К тому времени казаки в значительной степени предстали федералистами; для кадетов это было неприемлемо.

В разделе содержатся статьи «Евреи» (Джон Клиер), «Закавказье» (Р. Суни), «Прибалтика: Эстония и Латвия» (Олави Аренс, Эндрю Эзергайлс), «Сибирь» (Э. Вуд), «Средняя Азия» (Марта Брилл Олкотт), «Украина» (М. фон Хаген). В целом события на окраинах рассматриваются в контексте общероссийского системного кризиса. Однако фон Хаген, в целом описывающий события весьма точно, почему-то игнорирует тех западных авторов, которые писали и пишут об особой украинской революции¹⁷. Несомненно, «национальные революции» явились производным от кризиса империи, нежели фактором, активно его обостряющим (за исключением разве что поляков, финнов – о которых ничего не сказано – и Центральной рады). В связи с этим вряд ли уместно использовать такие понятия, как «туркестанская национальная идея» или «хрупкая

идея казахской национальности» (с. 667). И совсем уж нелепо переводить слово *курбаши* (своего рода полевые командиры) термином «борцы» (с. 669).

Складывается впечатление, что западные авторы склонны к модернизации – возможно, произвольной – российских социальных процессов. Ментальность тогдашних крестьянских этносов (в том числе и русского) была далека от таких понятий, как «революция», «национальное освобождение» и т.п. Так, довольно наивно звучит заявление О. Файджеса о том, что на Украине, в Прибалтике и на Кавказе крестьянская война была также «войной за национальное освобождение» (с. 507). Более адекватно тогдашние национальные движения могут быть описаны в дискурсе архаичного бунтарства. Причём надо учитывать, что на окраинах обычно дестабилизировали ситуацию солдаты (преимущественно русские), а не местные уроженцы. Лидеры национальных «революций», как правило, стремились дистанцироваться от «русского» хаоса. Из полусознанного стремления к этническому самосохранению и выростала внешняя картина «национальных» революций.

В целом революция народных низов была именно бунтом – действительно беспощадным, хотя вовсе не бессмысленным. Со времён Раскола, если не раньше, подданные Российской короны хотели жить по «естественным» законам, а не по тем, которые навязывала им центральная власть – будь то царская бюрократия, европеизированные интеллектуалы или социалисты-утописты. Это вылилось в нескончаемый протест против идеологических симулякров и «потёмкинских деревень», с помощью которых власть и порождённые ею псевдоэлиты осуществляли и по сей день осуществляют своё самообслуживание или приводят непонятную реальность в соответствие со своими субъективными устремлениями.

Особо стоит отметить, что материалы словаря полностью расходятся с представлениями о предпосылках революции, преобладающими в современной российской историографии. Если некоторые отечественные авторы сочиняют байки о прогрессе гражданского общества в дореволюционной России (sic!), то авторы словаря

пишут об общественном «расколе» (с. 27, 57, 61), не оставляя места для конспирологических «открытий». Они подводят к мысли, что описать подлинную историю русской революции выцветшими чернилами сервильных этатистских представлений невозможно.

К сожалению, отдельные авторы к 2014 г. «освежили» свои статьи, другие же оставили прежние тексты неизменными. В результате осталась неупомнутой опубликованная биография Мартова¹⁸. Довольно странно звучит заявление о существовании «единственной научной биографии Керенского», появившейся ещё в 1987 г. (с. 137), тогда как относительно недавно были изданы две книги, посвящённые ему¹⁹. Последняя из них даже стала предметом обсуждения на «круглом столе» в журнале «Российская история» (2013, № 4).

По вине издателей встречаются и другие упущения. Так, приводится старое (РЦХИДНИ), а не новое (РГАСПИ) название архива (с. 432). Именные указатели не всегда стыкуются с конкретикой отдельных статей. Увы, таких мелочей, как и слабостей перевода, довольно много.

Тем не менее данное издание ничуть не выглядит устаревшим. Это отнюдь не памятник историческим представлениям 1990-х гг. Более того, на фоне предложенных образов и смыслов революции нынешнее состояние российской историографии выглядит удручающе. Налицо скатывание к наиболее примитивной разновидности политической истории со стороны авторов, привыкших – то ли по наивности, то ли по легковесности – не замечать того, что таится за государственным фасадом русского прошлого. Именно отсюда идёт непонимание революции. Однако хочется надеяться, что к её столетию российская историческая мысль сможет превзойти то, что было опубликовано на Западе двадцать лет назад.

Примечания

¹ Critical Companion to the Revolution 1914–1921 / Ed. by E. Acton, V.Yu. Cherniaev, W.G. Rosenberg. L., 1997, 2001.

² См.: Acton E. Rethinking the Russian Revolution. L.; N.Y., 1990.

³ Франк Л.С. Духовные основы общества. М., 1992. С. 86.

⁴ Россия в годы Первой мировой войны: экономическое положение, социальные процессы, политический кризис. М., 2014. С. 329–334.

⁵ Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 2010. С. 422–424.

⁶ Лавров В.М. Партия Спиридоновой: Мария Спиридонова на левоэсеровских съездах. М., 2001.

⁷ Булдаков В.П. Красная смута... С. 390–422.

⁸ См.: Люкшин Д.И. Вторая русская смута: крестьянское измерение. М., 2006.

⁹ Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М., 2002. С. 66–94.

¹⁰ Совет Министров Российской империи в годы Первой мировой войны. Бумаги А.Н. Яхонтова. СПб., 1999. С. 119.

¹¹ Булдаков В.П. Утопия, агрессия, власть. Психосоциальная динамика постреволюционного времени. Россия, 1920–1930 гг. М., 2012. С. 210, 215, 226, 229.

¹² См.: Френкин М. Русская армия и революция. 1917–1918. Мюнхен, 1978; *он же*. Захват власти большевиками в России и роль

тыловых гарнизонов армии: подготовка и проведение Октябрьского мятежа. Иерусалим, 1982.

¹³ См.: Павлюченков С.А. Крестьянский Брест, или Предыстория большевистского нэпа. М., 1999.

¹⁴ Булдаков В.П. Хаос и этнос. Этнические конфликты в России, 1917–1918 гг.: условия возникновения, хроника, комментарий, анализ. М., 2010. С. 375.

¹⁵ См., например: Карпенко С.В. Белые генералы и красная смута. М., 2009; Пученков А.С. Украина и Крым в 1918 – начале 1919 г.: очерки политической истории. СПб.; М., 2013.

¹⁶ См.: Цветков В.Ж. Забытый фронт. Из истории Белого движения в Туркестане. 1918–1920 гг. // Гражданская война в России: события мнения оценки. Памяти Ю.И. Кораблёва. М., 2002. С. 569–578.

¹⁷ Федюшин О.С. Украинская революция, 1917–1918. М., 2007.

¹⁸ См.: Урилов И.Х. Ю.О. Мартов – историк и политик. М., 1997.

¹⁹ См.: Федюк В.П. Керенский. М., 2009; Тютюкин С.В. Александр Керенский. Страницы политической биографии (1905–1917 гг.) М., 2012.

Владислав Гросул

Рец. на: М. Рейман при участии Б. Литеры, К. Свободы, Д. Коленовской. Рождение державы. История Советского Союза с 1917 по 1945 год. М.: РОССПЭН, 2015. 839 с.

Vladislav Grosul

(Institute of Russian History, Russian Academy of Sciences)

Rec. ad op.: M. Reyman pri uchastii B. Litery, K. Svobody, D. Kolenovskoy. Rozhdenie derzhavy. Istoriya Sovetskogo Soyuzs s 1917 po 1945 god. Moscow, 2015

Рецензируемая книга вышла на чешском языке в 2013 г. Не являясь ни компиляцией, ни обобщающей работой, она фактически представляет собой солидную монографию, плод многолетних изысканий её авторов – преподавателей самого престижного чешского вуза, знаменитого Пражского Карлова университета. При написании исследования они не только

привлекли обширную литературу на нескольких языках, но и широко использовали опубликованные и архивные источники, поработав в архивохранилищах России, Германии, Нидерландов, США и, естественно, Чехии.

Перед нами – чешский взгляд на советскую историю, взгляд со стороны, но во многом и изнутри, поскольку главный